



Ю. Н. <ГОВОРУХА-ОТРОК>

Несколько слов по поводу кончины К. Н. Леонтьева

Умер К. Н. Леонтьев — умер совершенно неожиданно. Никто из знавших его не ожидал столь близкой развязки. Правда, в последние годы он постоянно недомогал, но это недомогание обрратилось как бы в обычный порядок его жизни, так что все близкие люди к этому уже привыкли. Еще недавно, почти на днях, в письме к пишущему эти строки Константин Николаевич сообщал о себе, что он «весел, бодр, всем интересуется». Это было писано 1 ноября, а 12 его уже не стало.

Он умер не глубоким стариком: если не ошибаюсь, ему едва минуло шестьдесят лет. И на вид он не производил впечатления старика. Все знавшие его помнят его высокую, стройную, едва согбенную годами фигуру, его живой взгляд, его старчески красивое, «барское» лицо, окаймленное густою сединой. До последнего времени он сохранил свою нервность и подвижность, энергию в споре, до последнего времени его глаза временами загорались, казалось, юношеским огнем, а его разговор, сверкавший неожиданными блестящими парадоксами, был жив и весел...

В последнем своем письме к пишущему эти строки К. Н. Леонтьев говорил, что у него уже нет охоты писать для печати, что, как он выразился, этот «огонь» в нем «угас», но тем не менее он собирается непременно написать «житие» недавно скончавшегося оптинского старца, отца Амвросия¹, своего наставника и друга. Без сомнения, если бы Константин Николаевич прожил долее, он осуществил бы это свое намерение, и мы имели бы такую же образцовую, но неизмеримо более интересную книгу, как написанная им же биография Климента Зедергольма². Покойный Леонтьев был знаток монастырской жизни и умел обрисовывать ее настоящими реальными чертами...

Если вообще о ком-нибудь можно сказать, что он умер рано, не вовремя, то я решился бы это сказать о покойном Константине Николаевиче. Он унес с собою в могилу «житие» отца Амвросия. Это незаменимая потеря. Вряд ли кто сумеет поставить этот светильник — почившего отца Амвросия — на «возвышенное место», откуда всякий бы его увидел так, как мог это сделать К. Н. Леонтьев. Зная хорошо отца Амвросия, зная хорошо монастырскую жизнь, он в то же время был писатель светский, он умел говорить о предметах, чуждых нашему обществу, отдаленных от него, — о складе монашеской жизни, о подвижниках, которые светят народу из-за стен монастырей, — он умел говорить обо всем этом языком доступным и понятным нашему светскому обществу, умел говорить так, что мог возбудить в обществе интерес к этому «отдаленному и чуждому»...

Необходимо, однако, сказать, о *каком* Леонтьеве идет речь. Я заговорил о покойном К<онстантине> Н<иколаевиче> как о человеке, имя которого известно всем. Так бы оно и должно быть, но в действительности это не так. Имя Леонтьева, его сочинения действительно известны всем немногочисленным у нас образованным людям, но не «публике», не массе читателей. В массе читателей, без сомнения, будут раздаваться недоумевающие вопросы: «Кто такой Леонтьев, о ком вы говорите?» Я говорю об авторе удивительно оригинального и глубокого исследования, об авторе книги «Византизм и славянство», я говорю об авторе не так давно изданного сочинения «Восток, Россия и славянство», в один из томов которого вошла только что упомянутая книга, и множество оригинальнейших статей, в которых подробно, часто в применении к текущим событиям, развиваются высказанные в ней мысли. Вот о каком К. Н. Леонтьеве я говорю.

Странная, но совершенно обыкновенная у нас судьба постигла этого замечательного писателя. Как известная книга Н. Я. Данилевского прошла *мимо* нашего общества, возбудив оживленные толки лишь по смерти ее автора³, так и книги К. Н. Леонтьева прошли *мимо* нашего общества. Лишь в самое последнее время в печати заговорили об этих книгах, лишь в последнее время все чаще и чаще стало печатно упоминаться его имя. Но «публика», «следящая» за всем на свете, придающая значение всякой печатной пошлости, знающая имена всевозможных бездарностей, наполняющих своими писаниями журнальные книжки, — эта публика и до сих пор имеет смутное представление о Леонтьеве, об одном из оригинальнейших писателей наших. Что делать? Так у нас повелось давно. Имена и книги наших замечательных романистов и поэтов мы знаем с грехом пополам, но замечатель-

ные писатели наши в других отраслях литературы должны выдержать продолжительный искус, «замалчивание» и игнорирование, прежде чем дождутся своего времени. Так было со всеми славянофилами, с Киреевским, Хомяковым, с Аксаковыми, Самариным, так было с Н. Я. Данилевским, так случилось и с примыкающим ко всем этим писателям К. Н. Леонтьевым. Его замалчивали, его игнорировали...

Да, он примыкал и к славянофилам, и к Н. Я. Данилевскому, во многом и к М. Н. Каткову⁴, — но он не был ни славянофилом, ни консерватором в смысле принадлежности к какой-нибудь «партии». Он был слишком оригинален, чтобы не пойти дальше чужих мыслей, — он был сам по себе. Так, к истинному пониманию христианства он подошел если не ближе славянофилов, то с иной стороны, чем они, своею самостоятельной дорогой. Мало верующий человек в начале жизни, отравленный веяниями своей эпохи, он подошел к христианству как эстетик, он сперва почувствовал его красоту, а потом уже его глубокое жизненное и мистическое значение. Но раз вступив на этот путь, он уже шел, не останавливаясь, с бестрепетною последовательностью заглядывая все глубже и глубже, и этим путем он пришел к чисто народному складу веры. Широко образованный человек, глубокий аналитик, он веровал так же непосредственно и, если хотите, грубо, как любой умный и строгий в своей жизни крестьянин. И вот это-то было в нем дорого, и вот это-то в нем было необыкновенно оригинально: это сочетание широкого образования, по природе аналитического ума, изощренного постоянною умственною работою, с простою, здоровою, грубою — я не боюсь этого слова — *мужицкою* верою...

И вот эта-то простая и здоровая вера поддерживала его на всех путях его, давала ему силу всегда идти против течения, тяготясь, но не смущаясь своим одиночеством, тяготясь, но не смущаясь тем, что посреди общей либеральной сумятицы недавно пережитой нами эпохи он очутился в положении «гласа, вопиющего в пустыне»...

И несмотря на «либеральный» шум и гвалт, заглушавший его голос, несмотря на то, что к его речам мало кто прислушивался, он бодро стоял на своем посту и — «вопийал в пустыне»... Он бодро боролся с тем, с чем считал долгом бороться всеми данными ему от Бога силами и способностями: с язвой, разъедающею Россию язвой, которую он видел в нашем либерализме. На либерализм наш у него была своя, оригинальная точка зрения. Он считал этот либерализм опаснейшим врагом России и христианства — более опасным, нежели анархизм, нигилизм, нежели пря-

мая революционная пропаганда. В либерализме он видел медленно, но наверняка действующее *разлагающее* начало, медленно действующую, но страшную силу — *силу пошлости*. Он думал, что ни нигилизм, ни революционная пропаганда не в состоянии сокрушить крепкого организма России, но был уверен, что либерализм наш именно силой своей безличной пошлости может *подточить* этот организм, как мириады ничтожных каждое само по себе насекомых подтачивают вековой дуб...

И вот против этой-то силы он боролся с бодростью и энергией, несмотря ни на что. В этом-то, повторяю, его поддерживала простая и здоровая *мужицкая* вера...

Мне не раз приходилось слышать от покойного, что по слабости человеческой его тяготит, а прежде, когда он был моложе, еще более тяготило то, что имя его мало известно, что сочинения его не привлекают внимания общества. Это повергало его в апатию, отбивало охоту писать. Он говорил, что только *страх Божий*, как он выражался, побуждал его не оставлять своего дела, не складывать рук, а бороться, пока есть силы, не думая, что из этого выйдет... И он боролся, пока были силы, а когда они изменили, все-таки чутко отзывался на все, что затрагивало его веру... Менее чем за две недели до смерти в упомянутом письме ко мне он писал по поводу недавней полемики, возникшей на страницах «Московских ведомостей» об известном реферате г. Соловьева⁵.

«*Ничего не чувствую* (курсивы везде его), кроме *глубокой боязни* за Православную Церковь (*земную*, конечно) и за Россию! — писал он. — Враги в новых формах и с новым оружием поднимаются со всех сторон».

«Что-то странное делается теперь в России, — говорит он в другом месте письма своего, — с одной стороны, небывалый (со времен Петра Первого) поворот образованных людей к православию (при Николае Павловиче у молодых людей хранилось еще Православие *сердца*; но оно тотчас же угасло при встрече с европейскими идеями: теперь молодых людей, уже рано переживших европейские влияния, *не собьешь*: «Старо, знаем!» — скажут они). Прекрасно! Но с другой? Повторять не буду!»

Да, *страх Божий* всегда жил в его сердце, руководил его деятельностью, поднимал в нем бодрость, энергию вопреки всему. Этот же *страх Божий* сблизил его с монастырем, заставил полюбить его, заставил понять бесконечное значение монастыря и монашества для России. В последние годы он и жил постоянно в Оптиной Пустыни, около своего наставника и руководителя — отца Амвросия. Несколько месяцев назад он переехал в Троице-

Сергиеву Лавру: здесь и умер. Все знавшие изумлялись перемене, происшедшей с ним в самое последнее время. Он стал спокойнее, тише, мягче. Нервность его и раздражительность как бы совсем исчезли. Он часто говорил о смерти — ожидал ее. Он говорил, что теперь ему уже ничего не нужно, что он желает лишь одного: «прочее время живота в мире и покаянии скончати». Он говорил, что усерднее всего молится, когда слышит на ектении⁶: «...доброто ответа на Страшном Судище Христовом у Господа просим»...

Желание его исполнилось: он скончался в «мире и покаянии». Последний его страх здесь, на земле, был страх за Церковь Православную, за Россию!.. И вот за эту-то любовь его к Церкви Православной, к России, к «Святой Руси», к народу русскому, с которым он «единомысленно исповедовал» простую и крепкую веру, — за эту-то любовь, быть может, будет услышана его самая горячая молитва о «добротом ответе на Страшном Судище Христовом». И те, кто его любил и знал, ничем лучше не могут выразить своей любви к нему, как помолившись о «упокоении души новопреставленного раба Божия Константина». Ибо ему уже не нужны ни наши слезы, ни наши похвалы, ни признания его заслуг, — нужна только молитва, теплая и искренняя...

